

ца. В салоне мать моя была удивительная хозяйка: глаз ее был всюду, она умела возбудить интерес застывающего разговора, соединить разнородные элементы, поднять настроение общества. «А ведь надо правду сказать, — говорил мне Н. А. Северцев, когда мы с ним как-то вспоминали старину, — удивительно умела графиня возбудить во всех нас какое-то поэтическое настроение, создать поэтическую атмосферу».

В то же время, когда мало читалось на Руси книг, общение с людьми образованными действительно имело значение школы для молодежи, и понятно, какую важность имел для них такой дом, как наш.

Е. Ф. Юнге

КРУЖКИ А. ПЛЕЩЕЕВА И С. ДУРОВА*

Познакомился я с *Ф. М. Достоевским* зимою 1848 года. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. С первых дней парижской Февральской революции самые неожиданные события сменялись в Европе одни другими. Небывалые реформы Пия IX отозвались восстаниями в Милане, Венеции, Неаполе; взрыв свободных идей в Германии вызвал революции в Берлине и Вене. Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой; наука и печать все более и более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем не проявляла своей деятельности. Из-за границы проникала контрабандным путем масса либеральных сочинений как ученых, так и чисто литера-

* *А. Милуков*. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, с. 169—185.

турных; во французских и немецких газетах, несмотря на их кастрирование, беспрестанно проходили возбудительные статьи; а между тем у нас, больше чем когда-нибудь, стеснялась научная и литературная деятельность, и цензура заразилась самой острой книгобоязнью. Понятно, как все это действовало раздражительно на молодых людей, которые, с одной стороны, из проникающих из-за границы книг знакомились не только с либеральными идеями, но и с самыми крайними программами социализма, а с другой — видели у нас преследование всякой мало-мальски свободной мысли; читали жгучие речи, произносимые во французской палате, на франкфуртском съезде, и в то же время понимали, что легко можно пострадать за какое-нибудь недозволенное сочинение, даже за неосторожное слово. Чуть не каждая заграничная почта приносила известие о новых правах, даруемых, волей или неволей, народам, а между тем в русском обществе ходили только слухи о новых ограничениях и стеснениях. Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось на умах интеллигентной молодежи.

И вот в Петербурге начали мало-помалу образовываться небольшие кружки близких по образу мыслей молодых людей, недавно покинувших высшие учебные заведения, сначала с единственной целью сойтись в приятельском доме, поделиться новостями и слухами, обменяться идеями, поговорить свободно, не опасаясь постороннего нескромного уха и языка. В таких приятельских кружках завязывались новые знакомства, закреплялись дружеские связи. Чаще всего бывал я на еженедельных вечерах у тогдашнего моего сослуживца *Иршарха Ивановича Введенского*, известного переводчика Диккенса. Обычными посетителями там были *В.В. Дерикер* — литератор и впоследствии доктор-гомеопат, *Н.Г. Чернышевский* и *Г.Е. Благовестлов*, тогда

еще студенты, и преподаватель русской словесности в одной из столичных гимназий, а потом помощник инспектора классов в Смольном монастыре *М. М. Печкин*. На вечерах говорили большею частью о литературе и европейских событиях. Те же молодые люди бывали и у меня.

Однажды Печкин пришел ко мне утром и между прочим спросил, не хочу ли я познакомиться с молодым начинающим поэтом *А. Н. Плещеевым*. Перед тем я только что прочел небольшую книжку его стихотворений, и мне понравились в ней, с одной стороны, неподдельное чувство и простодушие, а с другой — свежесть и юношеская пылкость мысли. Особенно обратили наше внимание небольшие пьесы «Поэту» и «Вперед». И могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не увлекать такие строфы, как например:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я.
Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Разумеется, я ответил Печкину, что очень рад познакомиться с молодым поэтом. И мы скоро сошлись. Плещеев стал ездить ко мне, а через несколько времени пригласил к себе на приятельский вечер, говоря, что я найду у него несколько хороших людей, с которыми ему хочется меня познакомить.

И действительно, я сошелся на этом вечере с людьми, о которых память навсегда останется для меня дорогою. В числе других тут были: *Порфирий Иванович Ламанский*, *Сергей Федорович Дуров*, гвардейские офи-

церы *Николай Александрович Монбелли* и *Александр Иванович Пальм* и братья *Достоевские*, *Михаил Михайлович* и *Федор Михайлович*. Вся эта молодежь была мне очень симпатична. Особенно сошелся я с Достоевскими и Монбелли. Последний жил тогда в московских казармах, и у него тоже сходился кружок молодых людей. Там я встретил еще несколько новых лиц и узнал, что в Петербурге есть более обширный кружок *М.В. Буташевича-Петрашевского*, где на довольно многолюдных сходках читаются речи политического и социального характера. Не помню, кто именно предложил мне познакомиться с этим домом, но я отклонил это, не из опасения или равнодушия, а оттого, что сам Петрашевский, с которым я незадолго перед тем встретился, показался мне не очень симпатичным по резкой парадоксальности его взглядов и холодности ко всему русскому.

Иначе отнесся я к предложению сблизиться с небольшим кружком *С.Ф. Дурова*, который состоял, как узнал я, из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнениями. Это была кучка молодежи более умеренной. Дуров жил тогда вместе с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховской улице, за Семеновским мостом. В небольшой квартире их собирался уже несколько времени организованный кружок молодых военных и статских, а между тем гости сходились каждую неделю и засиживались обыкновенно часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный взнос на чай и ужин и на оплату взятого напрокат рояля. Я вошел в этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до самого прекращения вечеров после ареста Петрашевского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем я познакомился у Плещеева и Монбелли, постоянно бывали *Николай Александрович Спешнев* и *Павел Николаевич Филиппов*, оба люди очень образованные и милые.

О собраниях Петрашевского я знаю только по слухам. Что же касается кружка Дурова, который я посещал постоянно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что в нем не было чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писанного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом. В кружке получались только и передавались друг другу недозволенные в тогдешнее время книги революционного и социального содержания, да разговоры большею частью обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занимал нас вопрос об освобождении крестьян, и на вечерах постоянно рассуждали о том, какими путями и когда может он разрешиться. Иные высказывали мнение, что ввиду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела, и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти. В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф.М. Достоевский. Я помню, как однажды с обычной своей энергией он читал стихотворение Пушкина «Уединение»*.

Как теперь слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ не угнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная зоря?

Когда при этом кто-то выразил сомнение в возмож-

* «Деревня».

ности освобождения крестьян легальным путем, Ф.М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит.

Другой предмет, на который также часто обращались беседы в нашем кружке — была тогдашняя цензура. Нужно вспомнить, до каких крайностей доходили в то время цензурные стеснения, какие ходили в обществе рассказы по этому предмету и как умудрялись тогда писатели провести какую-нибудь смелую мысль под вуалем целомудренной скромности, — чтобы представить, в каком смысле высказывалась в нашем кружке молодежь, горячо любившая литературу. Это тем понятнее, что между нами были не только начинавшие литераторы, но и такие, которые обратили уже на себя внимание публики, а роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» обещал уже в авторе крупный талант. Разумеется, вопрос об отмене цензуры не находил у нас ни одного противника.

Толки о литературе происходили большею частью по поводу каких-нибудь замечательных статей в тогдашних журналах, и особенно таких, которые соответствовали направлению кружка. Но разговор обращался и на старых писателей, причем высказывались мнения резкие и иногда довольно односторонние и несправедливые. Однажды, я помню, речь зашла о Державине, и кто-то заявил, что видел в нем скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта, каким величали его современники и школьные педанты. При этом Ф.М. Достоевский вскричал, как ужаленный, и закричал:

— Как? да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?

И он прочел на память стихотворение «Властителям и судиям» с такою силою, с таким восторженным

чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментариев поднял в общем мнении певца Фелицы. В другой раз читал он несколько стихотворений Пушкина и Виктора Гюго, сходных по основной мысли или картинам, и при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше, как художник.

В дуровском кружке было несколько жарких социалистов. Увлекаясь гуманными утопиями европейских реформаторов, они видели в их учении начало новой религии, долженствующей будто бы пересоздать человечество и устроить общество на новых социальных началах. Все, что являлось нового по этому предмету во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуживалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и об Икарии Кабе, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф.М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако же, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икаринской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним.

Не меньше занимали нас беседы о тогдашних законодательных и административных новостях, и понятно, что при этом высказывались резкие суждения, основанные иногда на неточных слухах или не вполне достоверных рассказах и анекдотах. И это в то время было естественно в молодежи, с одной стороны возмущаемой зрелищем произвола нашей администрации, стеснением науки и литературы, а с другой — возбужденной грандиозными событиями, какие совершались в Европе, порождая надежды на лучшую, более свободную и деятельную жизнь. В этом отношении Ф.М. Достоевский высказывался с неменьшей резкостью и увлечением, чем и другие члены нашего кружка. Не могу теперь привести с точностью его речей, но помню хорошо, что он всегда энергически говорил против мероприятий, способных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности возмущали его злоупотребления, от которых страдали низшие классы и учащаяся молодежь. В суждениях его постоянно слышался автор «Бедных людей», горячо сочувствующий человеку в самом приниженном его состоянии. Когда, по предложению одного из членов нашего кружка, решено было писать статьи обличительного содержания и читать их на наших вечерах, Ф.М. Достоевский одобрил эту мысль и обещал со своей стороны работать, но, сколько я знаю, не успел ничего приготовить в этом роде. К первой же статье, написанной одним из офицеров, где рассказывался известный тогда в городе анекдот, он отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы. Я, со своей стороны, прочел на одном из наших вечеров переведенную мною на церковнославянский язык главу из «Paroles d'un croyant»* Ламенне, и Ф.М. Достоевский сказал мне, что суровая библей-

* [«Слова верующего».]

ская речь этого сочинения вышла в моем переводе выразительнее, чем в оригинале. Конечно, он разумел при этом только самое свойство языка, но отзыв его был для меня очень приятен. К сожалению, у меня не сохранилось рукописи. В последние недели существования дуровского кружка возникло предположение литографировать и сколько можно более распространять этим путем статьи, которые будут одобрены по общему соглашению, но мысль эта не была приведена в исполнение, так как вскоре большая часть наших друзей, именно все, кто посещал вечера Петрашевского, были арестованы.

Незадолго перед закрытием кружка один из наших членов ездил в Москву и привез оттуда список известного письма Белинского к Гоголю, писанного по поводу его «Переписки с друзьями». Ф.М. Достоевский прочел это письмо на вечере и потом, как сам он говорил, читал его в разных знакомых домах и давал списывать с него копии. Впоследствии это послужило одним из главных мотивов к его обвинению и ссылке. Письмо это, которое в настоящее время едва ли увлечет кого-нибудь своей односторонней парадоксальностью, произвело в то время сильное впечатление. У многих из наших знакомых оно обращалось в списках, вместе с привезенной также из Москвы юмористической статьей А. Герцена, в которой остроумно и зло сравнивались обе наши столицы. Вероятно, при аресте петрашевцев немало экземпляров этих сочинений отобрано и передано было в Третье Отделение. Нередко С.Ф. Дуров читал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольствием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье «Киайя», в которой цензура уничтожила несколько стихов. Кроме бесед и чтения, у нас бывала по вечерам и музыка. Последний вечер закончился тем, что один даровитый пианист,

Кашевский, сыграл на рояле увертюру из «Вильгельма Телля» Россини.

А. Милуков

КРУЖОК И.И. ВВЕДЕНСКОГО*

Другой кружок людей отчасти с педагогическими, а главное, с литературными интересами я встретил у очень известного тогда *Введенского Иршарха Ивановича*. Один из наиболее выдающихся педагогов в области военно-учебных заведений, которого очень ценил Я.И. Ростовцев, управляющий тогда этими заведениями (он дал Введенскому особое положение, назначив его, по-тогдашнему, «наставником-наблюдателем», т. е. руководителем и инспектором преподавания по русскому языку и словесности), Введенский был очень известен и в литературных кругах как замечательный переводчик Диккенса. Впоследствии, долго спустя, говорили, что переводы Введенского не отличались большой точностью, — другими словами, он за мелочной точностью не гнался, но живой рассказ Диккенса он умел передавать живым рассказом русским, и это, конечно, было немалым достоинством и прямо свидетельствовало о его литературном даровании. С Введенским познакомил меня Н.Г., знавший его раньше отчасти как земляка, — и я потом почти не пропускал его пятниц, на которых всегда собирался кружок преподавателей и литераторов. Введенский был, действительно, человек интересный: он происходил из духовного звания, прошел семинарию, побывал, кажется, в Московской духовной академии и университете, жил одно время у Погодина (кажется, в роли репетитора в его пансионе), о котором сохранил не весьма благопо-

* А.Н. Пытин. Мои заметки. М., 1910, с. 74—77.